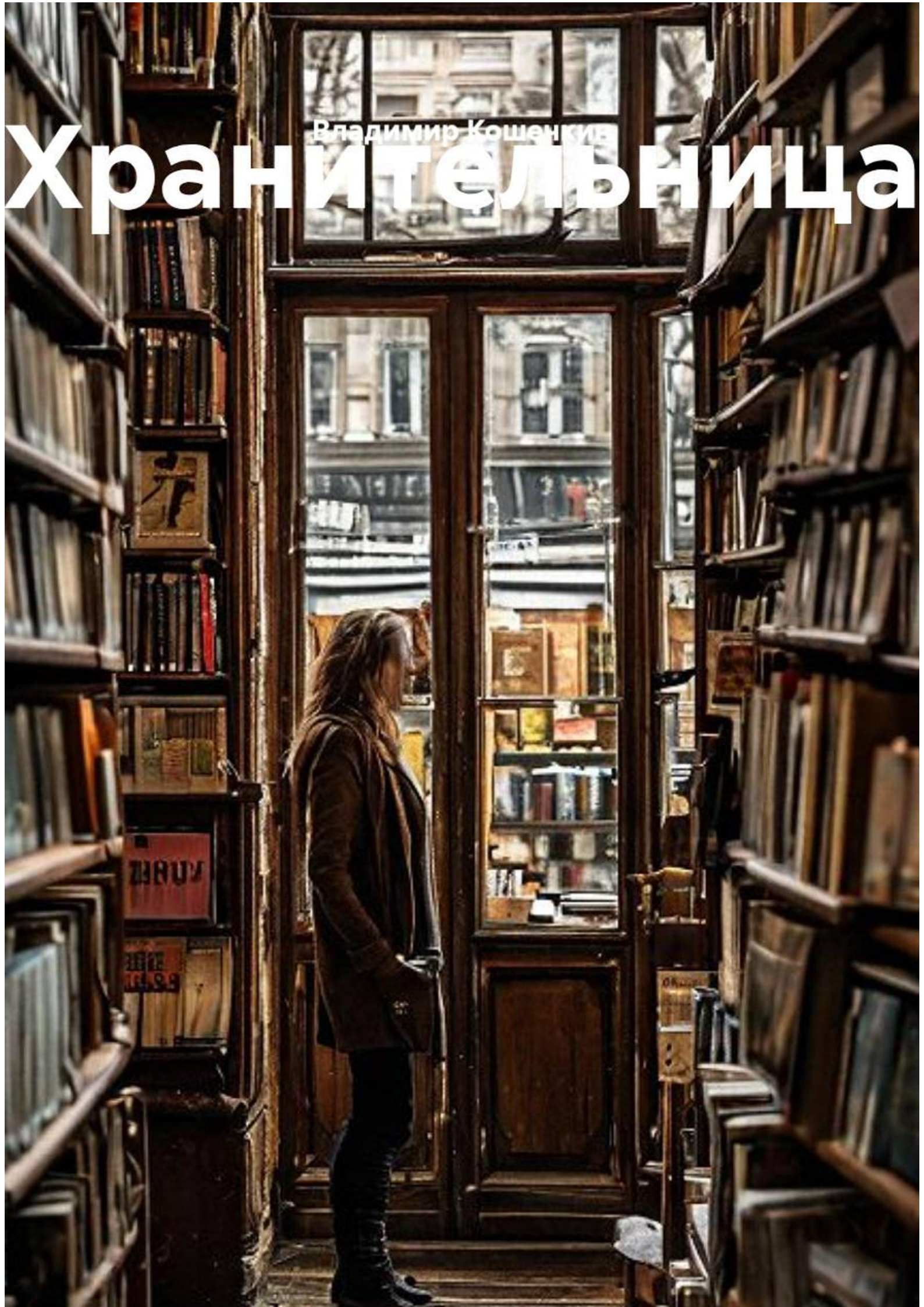


# Хранительница

Владимир Кошенкин



Владимир Кошечкин

**Хранительница**

«Автор»

2026

## **Кошечкин В.**

Хранительница / В. Кошечкин — «Автор», 2026

В старом книжном магазине с вывеской «Архив» не продают бестселлеры. Его хозяйка, Диана, торгует чувствами. Она умеет извлекать из души боль, вину, страх и запирает их в книги. Клиенты уходят с лёгким сердцем, а она остаётся — среди стеллажей, пахнущих чужими слезами. Много лет назад Диана дала себе слово: никогда больше не чувствовать. Не любить. Не привязываться. Однажды на пороге появляется Артём — резкий, дерзкий, с прозрачными глазами и запахом дождя. Ему нужна одна-единственная книга, спрятанная в дальней комнате архива. Книга, в которой заперто чувство, похищенное у умирающей старухи восемь лет назад. И это чувство — первая любовь. Диана соглашается помочь, не подозревая, что открывает ящик Пандоры. Что их встреча — не случайность. Что в книге с синим обрезом спрятана не только чужая боль, но и тайна, связывающая их задолго до этого дождливого вечера. И что каждое прикосновение к страницам — и друг к другу — пробуждает то, что она поклялась похоронить навсегда.

© Кошечкин В., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1 Чувство которое нельзя трогать	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Владимир Кошечкин

## Хранительница

### Глава 1 Чувство которое нельзя трогать

Знаете ли вы, каков на вкус воздух в месте, где годами хранится чужая боль?

Я говорю не о метафоре. Не о поэтическом преувеличении. Я говорю о самом буквальном, физическом ощущении, которое возникает на языке, на нёбе, на слизистой горла, когда вы входите в пространство, пропитанное эмоциями такой концентрации, что они становятся почти материальными. Почти видимыми. Почти съедобными.

В обычной жизни мы редко задумываемся о вкусе воздуха. Мы дышим им автоматически, как дышит рыба водой, не замечая, солёная она или пресная. Но стоит попасть в особенное место — в старый храм, где веками курится ладан; в подвал, где хранятся винные бочки; в библиотеку, где книги спят на полках, как старые пчёлы в сотах, — и воздух вдруг обретает характер. Он становится действующим лицом.

Здесь, в книжном магазине с неброской вывеской «Архив», воздух был густым и многослойным, как дорогое вино, которое забыли в подвале на несколько десятилетий. Первый вдох давал ощущение прохлады и лёгкой затхлости — так пахнут старые библиотеки, пыльные фолианты, высохшие чернила, воск от сотен свечей, которые гасли здесь на протяжении многих лет. Но это была лишь верхняя нота, обманчивая и невинная. Стоило задержаться в «Архиве» чуть дольше, сделать второй, более глубокий вдох — и на нёбе расцветала терпкая, сладковатая горечь, от которой начинали дрожать кончики пальцев, а в груди, где-то глубоко за грудиной, просыпалось странное, забытое тепло.

Этот запах невозможно было описать словами, но каждая женщина, переступившая порог «Архива», узнавала его мгновенно. Не умом — телом. Не памятью — инстинктом. Это был запах её собственного дневника, который она вела в пятнадцать лет и сожгла в шестнадцать, стоя над раковиной в ванной, глотая слёзы и наблюдая, как синее пламя пожирает страницы, исписанные неровным, летящим почерком. Это был запах первого любовного письма — того самого, на жёлтой бумаге в клеточку, сложенного вчетверо и спрятанного в учебник алгебры, где оно пролежало целый год, а потом было найдено и прочитано не тем человеком. Это был запах той ночи, когда она, совсем ещё девочка, сидела на холодном подоконнике, обхватив колени руками, и смотрела, как гаснут одно за другим окна в доме напротив, и думала о человеке, который пообещал позвонить, но не позвонил ни в тот вечер, ни на следующий, ни через год.

Здесь пахло чувствами.

Не метафорически. Не поэтически. Не в каком-то возвышенном, эфемерном смысле. Самым буквальным, физиологическим образом. Потому что чувства в «Архиве» хранились не только в книгах — они были разлиты в воздухе, впитаны в деревянные стеллажи, вплетены в ворс старого ковра, вдеты в серебряные нити портьер. Они были повсюду. И каждая женщина, входящая сюда, чувствовала это кожей, ещё до того, как осознавала рассудком.

Диана знала это лучше всех. Потому что она была не просто хозяйкой «Архива». Она была его сердцем. Его лёгкими. Его нервной системой.

Магазин располагался в старом квартале, который городские власти безуспешно пытались привести в порядок уже второе десятилетие. Когда-то, в начале двадцатого века, этот район был фешенебельным: здесь селились купцы первой гильдии, адвокаты с громкими фамилиями и балерины Императорского театра. Дома строились с размахом — высокие потолки, лепнина, эркеры, выходящие на набережную, парадные с мраморными ступенями и коваными

перилами. Но время, войны, революции и смены режимов не пощадили квартал. Постепенно фешенебельные дома обветшали, мраморные ступени покрылись трещинами, а в квартирах с лепниной поселились коммуналки.

Теперь это было странное, пограничное место — не центр, но и не окраина; не прошлое, но ещё и не будущее. Узкие улочки, мощённые потрескавшейся брусчаткой, вились между облупленными фасадами, на которых ещё можно было разглядеть остатки былой красоты — полустёртую позолоту на кариатидах, ржавые балконные решётки, сплетённые в прихотливый узор, выцветшие фрески под самой крышей. Фонари здесь горели тусклым, желтушным светом — не современные светодиодные панели, а старые газовые светильники, которые давно должны были заменить, но почему-то не заменили. В их дрожащем, неверном свете брусчатка после дождя блестела, как чешуя гигантской спящей рыбы, а тени от прохожих становились длинными и причудливыми, словно каждый, кто шёл по этой улице, нёс за собой своего тёмного двойника.

В дождливую погоду — а дождливой погода здесь была почти всегда, словно сам климат подстраивался под меланхоличный нрав этого места, — брусчатка становилась скользкой и опасной, а воздух наполнялся сыростью, от которой у прохожих начинали ныть старые переломы, а в горле першило. Местные жители — те немногие, кто ещё здесь жил, — кутались в плащи и шарфы, прятали носы в воротники и спешили поскорее миновать этот квартал. Никто не гулял здесь без цели. Никто не назначал здесь встреч.

«Архив» находился в самом сердце квартала, в доме номер семнадцать по улице Старой — здании, которое когда-то было особняком, а потом стало чем-то средним между доходным домом и складом. Чтобы найти вход, нужно было свернуть с главной улочки в неприметную арку, пройти через тёмный, гулкий двор-колодец, где на верёвках, натянутых между окнами, вечно сушилось бельё, а на пожухлой траве спали бездомные кошки, — и упереться в массивную дубовую дверь с бронзовой ручкой в виде змеи, поедающей свой хвост. Уроборос — символ вечности, конца, который является началом, и начала, которое неизбежно станет концом.

Вывеска над дверью была скромной, даже аскетичной. Никакой неоновой подсветки, никаких кричащих шрифтов. Просто медная табличка, потемневшая от времени и сырости, на которой изящным курсивом было выгравировано: «Архив». И чуть ниже, совсем мелкими буквами: «Книжный магазин и переплётная мастерская». Последние слова были почти шуткой — или почти правдой, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть.

Случайные прохожие сюда не забредали. Во-первых, найти вход было почти невозможно без проводника. Во-вторых, даже те редкие празднующиеся, кому удавалось обнаружить арку и дверь, чувствовали что-то такое — странное, тревожное, — что заставляло их развернуться и уйти, так и не коснувшись бронзовой ручки. «Архив» не любил случайных гостей. «Архив» сам выбирал, кому открыться.

Но те, кому было нужно, — находили. Всегда.

Витрина магазина — единственное окно, выходящее во двор-колодец, — была затенена плотными портьерами цвета индиго, расшитыми серебряной нитью. Днём, когда редкое солнце всё же пробивалось сквозь облака, нити вспыхивали, переливались, текли по ткани, как жидкая ртуть, и казалось, что на портьерах вышита какая-то карта — не то звёздного неба, не то человеческой души. Ночью, в свете тусклого фонаря, они просто мерцали — таинственно и маняще.

За стеклом, на выцветшем бархате винного цвета, покоилась одна-единственная книга. Она никогда не менялась — ни времена года, ни десятилетия не сдвинули её с места. Тяжёлый фолиант в переплёте из тёмной, почти чёрной кожи, с золотым тиснением, которое давно потускнело и стало похоже на паутину. На корешке — ни названия, ни имени автора. Только странный символ, вытесненный глубоко, но нечётко: спираль, уходящая в бесконечность, или лабиринт, у которого нет выхода.

Местные жители — те, кто знал о существовании «Архива», — обходили витрину стороной. Говорили разное. Что книга в окне никогда не покрывается пылью, хотя никто её не протирает. Что она меняет цвет в зависимости от времени суток: на рассвете её обрез отликает алым, в полдень — золотым, а в полночь — чёрным, чернее самой ночи. Что если долго смотреть на спираль на корешке, начинает кружиться голова и хочется плакать без причины. А ещё — что книга смотрит на тебя в ответ.

Последнее было правдой.

Внутри «Архив» был гораздо больше, чем казался снаружи. Это был не просто книжный магазин — это был лабиринт, живой организм, который дышал, рос и менялся в зависимости от того, какие чувства в него попадали. Стеллажи из тёмного, почти чёрного морёного дуба уходили под самый потолок — а потолок терялся где-то вверху, в мягком, бархатистом полумраке, и невозможно было сказать, есть ли он вообще. Иногда, в особенно ясные ночи, сквозь стеклянный купол — единственную современную деталь во всём здании — можно было увидеть звёзды. Но купол был виден не всегда. Как будто он появлялся только тогда, когда «Архив» хотел его показать.

Стеллажи стояли не ровными рядами, как в обычной библиотеке, а как-то... хаотично, но в хаосе этом чувствовался свой, особый порядок. Они изгибались, поворачивали, образовывали ниши и тупички, создавали маленькие комнаты без дверей. Между некоторыми стеллажами были такие узкие проходы, что пройти мог только один человек, да и то боком. Другие, наоборот, расширились в небольшие площади, где стояли кресла — старые, потёртые, но удивительно удобные, обитые выцветшим бархатом, с высокими спинками и подлокотниками, на которых лежали стопки книг, забытых предыдущими посетителями.

Пол в «Архиве» был деревянным — старые дубовые плашки, отполированные тысячами шагов до зеркального блеска. Кое-где они поскрипывали, но каждый скрип был особенным, со своим тоном и тембром. Диана знала наизусть голос каждой половицы. Она могла с закрытыми глазами пройти через весь лабиринт и ни разу не ошибиться — просто слушая, как поёт пол под её ногами.

Ковры — а их было множество, самых разных, от персидских до домотканых, — лежали тут и там, приглушая шаги и добавляя уюта. Но уюта странного, тревожного. Потому что каждый ковёр пах по-своему. Один — лавандой и бабушкиным сундуком. Другой — мокрой псиной и осенними листьями. Третий — йодом и морской солью, словно его привезли с побережья, где он годами лежал на песке, впитывая в себя слёзы рыбаков, провожающих мужей в море.

Освещался «Архив» свечами. Не было ни одной электрической лампочки — Диана принципиально отказалась от электричества, когда обустроивала магазин. Свечи стояли повсюду: на полках, в нишах, на подоконниках, на специальных кованых подставках. Восковые, сальные, стеариновые — разных форм и размеров, от тонких, изящных, пахнущих жасмином, до массивных, оплывших, похожих на сталагмиты. Их пламя колебалось в такт дыханию «Архива» — или в такт дыханию тех чувств, что хранились здесь. И от этого по стенам всё время бежали тени — длинные, дрожащие, переплетающиеся, как будто все эмоции, запертые в книгах, обретали на несколько мгновений зыбкую, эфемерную форму.

Посередине главного зала — если можно было назвать залом самую большую из комнат этого лабиринта — стоял массивный дубовый стол. Он был старым, очень старым, и столешница его была исцарапана, испещрена чернильными пятнами и следами от горячих чашек. За этим столом, говорили, когда-то работал сам основатель «Архива» — человек, о котором не осталось почти никаких сведений, кроме смутных легенд. Диана была его ученицей, а потом — наследницей. И теперь стол принадлежал ей.

На столе царил идеальный порядок — единственный островок порядка во всём этом чувственном хаосе. Настольная лампа (единственное электрическое устройство, которому Диана сделала исключение) с абажуром из зелёного стекла, бросающим на бумаги уютный, успокаива-

вающий свет. Стопка чистых формуляров — плотная кремовая бумага ручной выделки. Тяжёлая чернильница из тёмного стекла, в которой плескались чернила цвета запёкшейся крови. Старая перьевая ручка с золотым пером, принадлежавшая ещё прежнему владельцу. И серебряный поднос с одинокой фарфоровой чашкой, в которой вечно остывал недопитый чай.

Над столом, на тонких, почти невидимых цепях, свисающих с невидимого потолка, висела модель Солнечной системы. Но планеты на ней были расположены не в астрономическом порядке. Их орбиты пересекались под немислимыми углами, закручивались в спирали, образовывали сложные, завораживающие узоры. Приглядевшись, можно было заметить, что каждая «планета» — это крошечный стеклянный шар, внутри которого что-то слабо мерцало. Цвета были разные: нежно-розовый, тёплый золотой, глубокий сапфировый, болезненно-фиолетовый и — в самом центре этой странной вселенной — один-единственный шар, совершенно чёрный, но при этом светящийся. Он пульсировал, как сердце, и от него исходило низкое, почти неслышимое гудение.

Это были не планеты. Это были эмоции. Законсервированные, заключённые в хрустальные сферы, самые сильные из тех, что когда-либо попадали в «Архив». Диана называла их «маяками». Они служили чем-то вроде компаса — по ним можно было ориентироваться в лабиринте чувств, находить нужные книги, определять, где в данный момент находится та или иная эмоция.

И во всём этом безмолвном, дрожащем, пахнущем чужими слезами великолепии — Диана была единственным живым человеком.

Она сидела за дубовым столом, выпрямив спину и положив руки на прохладную столешницу. Поза её была безупречной, почти балетной — результат многолетней привычки держать себя в узде, не позволять телу расслабляться, не давать чувствам ни единого шанса просочиться наружу. Длинные тёмные волосы, отливающие каштановым и медным в тёплом свете лампы, были собраны в низкий, строгий пучок. Ни одной выбившейся пряди. Ни одного намёка на небрежность.

Её лицо заслуживало отдельного описания — такого же долгого и пристального, как взгляд, которым она встречала каждого входящего. Высокий, гладкий лоб, на котором не было ни единой морщинки, но и ни намёка на юношескую безмятежность. Тёмные брови вразлёт — густые, чётко очерченные, они придавали лицу выражение постоянной, но сдержанной решимости. Острые скулы, слишком резкие для классической красоты, но именно эта резкость делала лицо запоминающимся, не давала ему скатиться в слащавость. Нос прямой, с лёгкой горбинкой — единственная деталь, которая намекала на то, что в жилах Дианы течёт не только русская кровь.

Губы — вот что притягивало взгляд в первую очередь. Бледно-розовые, суховатые, плотно сжатые, они выглядели так, словно их хозяйка боялась, что с них сорвётся что-то лишнее — слово, вздох, признание. В уголках губ залегла едва заметная горькая складка, которая появляется у женщин, слишком рано узнавших цену потери. Но при этом в самих губах таилось что-то... чувственное. Что-то, что контрастировало с их бледностью и строгостью. Как будто под этим ледяным покровом спал вулкан.

И наконец — глаза. Глубокого, влажного карего цвета, цвета торфяного болота в сумерках, цвета осенней листвы, упавшей в тёмную воду. В них читался ум — острый, цепкий, ничего не упускающий. Читалась пронизательность — та, что граничит с ясновидением. И читалась глубокая, въевшаяся в кости, ставшая частью характера усталость. Не физическая — душевная. Та усталость, которая приходит, когда ты слишком много лет носишь чужие боли.

На вид Диане можно было дать и двадцать восемь, и тридцать пять. Время в «Архиве» текло по своим законам, и на лице хозяйки оно не оставляло следов в виде морщин или пигментных пятен. Но во взгляде, в жестах, в манере двигаться — плавной, экономной, чуть замед-

ленной, как у водолаза под толщей воды, — сквозило что-то очень взрослое. Очень древнее. Что-то, что не измеряется годами.

Она была одета в платье из плотного тёмно-зелёного бархата. Ткань облегла фигуру, но не обтягивала, оставляя простор для движения и для воображения. Высокий воротник-стойка закрывал шею почти до подбородка. Длинные рукава сужались к запястьям, обнажая только кисти рук. Никаких украшений, никакой бижутерии. Только на безымянном пальце левой руки — кольцо из тёмного, почти чёрного серебра с крупным дымчатым кварцем. Камень был мутным, непрозрачным, и внутри него, казалось, медленно клубился туман — не то запертое воспоминание, не то предупреждение.

Сегодня был вторник.

Вторники Диана не любила. У каждого дня недели в «Архиве» был свой характер, свой запах, свой тип посетителей. Понедельники были тихими и пустыми — день, когда она приводила в порядок каталог, подклеивала корешки, переписывала формуляры. Среды приносили самых простых клиентов — тех, чья боль была поверхностной, неглубокой, как царапина. В четверг приходили мужчины — редкие, но самые трудные, потому что мужчины не умели отдавать чувства, они цеплялись за свою боль, как за трофей. Пятницы были опасны — в пятницу граница между мирами истончалась, и в «Архив» иногда просачивалось что-то, чему здесь было не место.

Но вторники... вторники были днями, когда приходили самые сложные клиенты. Те, кто носил свою боль долго, годами, десятилетиями. Те, для кого она стала частью личности, второй кожей, врагом, с которым они сроднились. Извлечь такую боль было всё равно что удалить злокачественную опухоль, проросшую во все органы. Требовались часы подготовки, предельная концентрация и... определённая доля жестокости. Потому что такие клиенты не хотели расставаться со своей болью. Они боялись этого. И их приходилось уговаривать, убеждать, почти заставлять — а потом, когда процедура была закончена, они уходили опустошёнными, с глазами, полными растерянности, словно люди, которые только что лишились важного органа и ещё не научились жить без него.

Сегодняшний вторник был особенно тяжёлым. Приходила женщина — немолодая, с потухшим взглядом и трясущимися руками, — которая принесла чувство вины. Не просто вины — а Вины с большой буквы, той самой, что пожирает человека изнутри, лишает сна, отравляет пищу, превращает каждый вздох в самобичевание. Она винила себя в смерти дочери — та погибла в автокатастрофе много лет назад, и всё это время мать жила с мыслью: «Если бы я не отпустила её в тот вечер...»

Диана работала с ней почти три часа. Сначала — долгий разговор. Потом — чай с успокоительными травами (шалфей, ромашка, мелисса, капля настойки пиона). Потом — сама процедура. Женщина плакала, цеплялась за край стола, умоляла остановиться, но Диана была неумолима. Она знала: если прерваться на середине, будет хуже. Чувство, наполовину извлечённое, становится ядовитым. Оно отравляет и клиента, и хранителя.

Когда всё закончилось, женщина уснула прямо в кресле — глубоким, почти наркотическим сном, какого у неё не было уже много лет. Диана укрыла её пледом, поправила подушку и тихо отошла к столу, чтобы запереть извлечённое чувство в книгу.

Это была старая книга в сером холщовом переплёте, без названия. Диана раскрыла её на середине, достала из ящика стола стеклянный флакон с притёртой пробкой — внутри флакона клубился тёмно-серый, почти чёрный дым — и аккуратно, по капле, перелила его на страницы. Чернила вспыхнули, заискрились, впитались в бумагу, оставив после себя только лёгкое, едва уловимое свечение. Потом Диана закрыла книгу, застегнула серебряную застёжку и отнесла её на специальную полку — туда, где хранились самые тяжёлые, самые опасные чувства.

Вина. Стыд. Обида. Ревность. Страх.

Все они стояли там, на верхней полке дальнего стеллажа, запертые в книги с серебряными застёжками. И каждая пульсировала, как больной зуб.

Теперь, когда работа была закончена, Диана сидела за столом и пыталась восстановить дыхание. Чужая вина всё ещё ощущалась где-то в груди — липкая, холодная, как мокрое шерстяное одеяло. Она знала, что это пройдёт. Всегда проходило. Нужно было просто подождать, выпить чаю, посмотреть на огонь свечи. К утру от чужого чувства не останется и следа.

Но сегодня что-то шло не так. Тяжесть в груди не уходила, а наоборот — усиливалась. И к ней примешивалось что-то ещё — странное, тревожное предчувствие, от которого покалывало кончики пальцев и сосало под ложечкой.

Диана поднесла к губам чашку с остывшим чаем. Глотнула. Чай был ройбуш с щепоткой кардамона — её любимый, ещё тёплый, но уже не обжигающий. Вкус показался ей горьковатым, слишком терпким. Может, передержала заварку?

Часы над входной дверью — старинные, с маятником в виде уробороса — показывали без четверти десять. До закрытия оставался час. За окном, во дворе-колодце, моросил мелкий ноябрьский дождь, барабанил по брусчатке, по карнизам, по пожухлой траве монотонную, усыпляющую дробь. Спящая клиентка тихо посапывала в кресле. Свечи горели ровно, не мигая. Всё было как всегда.

И вдруг Диана замерла.

Чашка дрогнула в её пальцах, едва не выплеснув содержимое на формуляр. Чай расплескался, залил столешницу тёмной лужицей, но Диана этого даже не заметила.

В воздухе что-то изменилось.

Не запах. Не звук. Не температура. Скорее — вибрация. Неуловимое, почти на грани слышимости, колебание, словно кто-то тронул натянутую струну где-то далеко-далеко, в самой глубине архива. Или — в самой глубине её души.

Диана знала это чувство. Оно посещало её каждый раз, когда в «Архив» входил не просто посетитель. Когда в «Архив» входил кто-то заряженный. Кто-то, кто нёс в себе эмоцию такой силы и такого... странного качества, что она начинала вибрировать ещё до того, как человек переступал порог.

Таких посетителей за все годы было от силы пятеро.

И каждый из них изменил её жизнь.

Диана медленно, очень медленно, поставила чашку на стол. Вытерла пролитую лужицу салфеткой — движения были автоматическими, пока мысли лихорадочно метались. Кто это? Что он несёт? Она попыталась настроиться на вибрацию, распознать её, как настраивают радиоприёмник на волну, — и не смогла. Вибрация была слишком сложной, многогранной, многослойной. Там было всё: боль, радость, страх, надежда, отчаяние и что-то ещё, что она не могла идентифицировать.

Скрипнула входная дверь.

Звякнул колокольчик — низкий, басовитый, бронзовый. Его звук разнёсся по лабиринту, отражаясь от стеллажей, затухая в коврах, и почему-то именно сегодня он показался Диане похоронным звоном.

Холодный ноябрьский воздух ворвался внутрь. Пламя свечей заметалось, затанцевало, тени на стенах заметались в странном, тревожном танце. Пылинки, до этого мирно спавшие в свете лампы, взвились в воздух, закружились, словно крошечные светлячки.

И вместе с этим воздухом внутрь вошёл тот самый запах.

Диана вдохнула — и замерла.

Это был сложный, богатый, тревожащий аромат. Верхняя нота — дождь: озонированный, свежий, колючий, с лёгким оттенком мокрого асфальта и автомобильных выхлопов. Средняя — табак: не сигаретный, не трубочный даже, а какой-то особенный, с оттенками сушёной вишни, ванили и ещё чего-то, похожего на ладан. И наконец, базовая нота — та, что остаётся,

когда всё остальное выветривается: тёплый, мускусный, животный запах. Запах кожи, разогретой солнцем. Запах мужского тела, которое много двигалось, работало, недосыпало. Запах, от которого у Дианы вдруг сладко и тревожно заныло где-то глубоко внутри — там, где она давно уже ничего не чувствовала.

Она подняла глаза.

На пороге, стяхивая с плеч капли дождя, стоял мужчина.

Высокий — для этого низкого дверного проёма ему пришлось слегка пригнуться, входя. Плечи широкие, но не грузные; фигура подтянутая, спортивная, но без нарочитой мускулистости. Одет он был в длинное тёмно-серое пальто из хорошей, дорогой шерсти, но пальто было изрядно поношенным: на локтях ткань уже начала лосниться, на левом рукаве, у манжета, виднелась аккуратная, но заметная штопка, а пуговицы были пришиты неровно, разными нитками — словно хозяин чинил одежду сам, без женской помощи.

Пальто было расстёгнуто, открывая вид на рубашку — некогда белую, теперь чуть желтоватую от времени и стирок, но чистую и отглаженную. Ворот рубашки был распахнут на две верхние пуговицы, обнажая жилистую, сильную шею с выступающим кадыком. Никакого шарфа, хотя ноябрьский ветер на улице был колючим и промозглым — казалось, обладатель пальто просто не замечал холода.

Волосы — тёмно-русые, густые, влажные от дождя — были взъерошены и падали на лоб небрежными, непослушными прядями, которые он то и дело убирал с лица нетерпеливым, резким, почти сердитым жестом. Жест этот был явно привычным, машинальным — так делают люди, которые привыкли, что им что-то мешает, но не привыкли жаловаться на это.

Черты лица — грубоватые, крупные, но правильные: широкий, умный лоб, на который падала тень от влажных волос; прямой нос с лёгкой, едва заметной горбинкой — может быть, след давнего перелома; твёрдый, волевой подбородок, покрытый тёмной щетиной — не модной «трёхдневной небритости», а настоящей, как у человека, который просто забыл побриться сегодня утром. Губы — чётко очерченные, но бледные, чуть обветренные, словно он долго шёл пешком под холодным ветром.

Но главное, что поражало в этом лице, — глаза.

Светло-серые, почти прозрачные, как два осколка льда, в которые кто-то вплавил каплю ртути. Они мерцали в полумраке «Архива», отражая свет свечей, и в их глубине плясали какие-то бесенята — не злые, но озорные, опасные. В них не было открытой угрозы, не было враждебности. Но было нечто куда более опасное и тревожащее — глубокая, всепонимающая, горькая насмешка. Так смотрит человек, который знает о мире слишком много. Который видел то, чего не показывают другим. Который утратил иллюзии, но не утратил способности удивляться — и удивляться с горькой иронией.

Он переступил порог — и сразу занял собой всё пространство. Не физически — энергетически. От него исходило поле, силовое поле, которое Диана ощущала кожей, как ощущают приближение грозы. Воздух вокруг него словно сгустился, задрожал, завибрировал в унисон с той самой вибрацией, которую она почувствовала несколькими минутами ранее.

Мужчина встряхнулся — по-собачьи, энергично, разбрызгивая вокруг себя дождевые капли. Капли упали на вытертый ковёр, на корешки ближайших книг, на стопку формуляров. Диана машинально отдернула руку. Он этого, кажется, не заметил — или сделал вид, что не заметил.

Провёл пятернёй по мокрым волосам, убирая их с лица. Ладонь была широкая, с длинными, артистичными пальцами — но пальцы были в мелких шрамах, ссадинах, а ногти обломаны неровно, словно он грыз их или недавно работал руками. На указательном пальце правой руки виднелся старый, давно заживший шрам — белая полоска, пересекающая фалангу.

Завершив свой короткий туалет, мужчина наконец поднял глаза и посмотрел на Диану.

Их взгляды встретились.

Время остановилось. Буквально — Диана услышала, как маятник часов-уроборос замер на долю секунды дольше обычного, прежде чем качнуться обратно. Свечи перестали мигать. Даже дождь за окном, казалось, затих на мгновение, словно природа затаила дыхание.

Этот взгляд она знала.

Нет, она не знала этого человека. Она никогда раньше не видела этого лица, этих глаз, этих губ, этих шрамов. Если бы они столкнулись на улице, она прошла бы мимо, не обернувшись. Но этот взгляд...

Этот взгляд был ей до мучительного, до головокружения знаком.

Так смотрит тот, кого ты любил в прошлой жизни. Так смотрит тот, кто когда-то — тысячу лет назад, или в прошлый вторник, какая разница? — разбил тебе сердце и не заметил этого. Так смотрит тот, кому ты до сих пор не можешь простить, хотя не помнишь ни его лица, ни его имени.

В горле у Дианы пересохло. Сердце — её бедное, замёрзшее, запёртое на все замки сердце, — пропустило удар, потом другой, а потом забилося с такой силой, что она испугалась: не услышит ли он?

Она опустила чашку на стол. Медленно. Очень медленно. Так медленно, как сапёр опускает на землю найденную мину.

— Здравствуйте, — произнесла она ровным, ледяным голосом, который совершенно не соответствовал тому, что творилось у неё внутри. Голосом хозяйки «Архива», голосом женщины, которая ничего не боится и никому не удивляется. — Добро пожаловать в «Архив».

Мужчина улыбнулся.

Его улыбка была кривой, однобокой — правая сторона рта приподнялась чуть больше левой, отчего лицо стало асимметричным и от этого ещё более живым. В улыбке было что-то мальчишеское, почти детское, но в сочетании со взрослой, жёсткой складкой у рта и насмешливыми искрами в глазах она производила странное, тревожное впечатление. Словно он знал какую-то тайну — о ней, о себе, о них обоих, — и не собирался этой тайной делиться. По крайней мере, пока.

— Добрый вечер, Диана, — сказал он.

Её имя, произнесённое его низким, чуть хриловатым голосом, прозвучало в тишине «Архива» как удар колокола. Не «здравствуйте, хозяйка». Не «простите, я, кажется, ошибся дверью». Просто — «Диана». Чётко, уверенно, с лёгким нажимом на первый слог. Так обращаются к старым знакомым. Так обращаются к тем, кого знаешь всю жизнь.

Она не спросила, откуда он знает её имя. На вывеске его не было. В каталогах — тоже. В телефонных справочниках «Архив» не значился. Но интуиция — та самая интуиция, которая никогда её не подводила, — подсказывала: этот человек знает. Не только имя. Он знает всё. Или почти всё. Или то, что она сама о себе забыла.

— Чем я могу вам помочь? — Диана сложила руки перед собой на столе. Жест, который обычно помогал ей сохранять дистанцию, выстраивать невидимую стену между собой и клиентом. Сейчас этот жест казался ей жалким, бесполезным, как картонный щит.

— О, вы можете мне помочь, — ответил мужчина, делая шаг вперёд. — Вы можете мне очень помочь.

Его шаги по старому паркету звучали глухо и увесисто, и каждая половица под его ногами пела свою особую, низкую, тревожную ноту. Он двигался не спеша, с ленивой грацией хищника, который знает, что добыча никуда не денется. Его взгляд скользил по стеллажам, по свечам, по «планетам» под потолком, но неизменно возвращался к Диане. Как стрелка компаса к северу.

— Вы можете помочь мне найти кое-что, — продолжал он. — Кое-что очень дорогое. Кое-что, что было потеряно... несколько лет назад.

— Здесь много потерянного, — осторожно ответила Диана. — Это книжный магазин. Люди теряют книги, а я их нахожу.

— Это не просто книжный магазин, — усмехнулся он, и усмешка эта была почти ласковой. — И вы это прекрасно знаете.

Диана промолчала. Её пальцы под столом сжались в кулак, ногти впились в ладони, но она даже не поморщилась.

— Мне нужно воспоминание, — сказал мужчина, останавливаясь в шаге от стола. От него пахло дождём и табаком, и этот запах обволакивал её, проникал в ноздри, оседал на языке. — Одно конкретное воспоминание. Вернее... одно конкретное чувство. Очень сильное. Очень горячее. Очень... — он замолчал на мгновение, подбирая слово, — ...живое.

— Я не торгую воспоминаниями, — отрезала Диана. — Я продаю книги.

— Конечно. А я — честный человек. — Он улыбнулся ещё шире, и теперь в его улыбке было что-то почти нахальное. — Мы оба лжём. Я предлагаю пропустить эту часть и перейти сразу к делу. Так мы сэкономим время. Вы его цените, я знаю. Как и я.

Он положил руку на стол. Ту самую — широкую, шершавую, со сбитыми костяшками и шрамом на указательном пальце. Положил так близко к руке Дианы, что она почувствовала тепло, исходящее от его кожи. Тепло — и странное, почти неуловимое покалывание, словно между их пальцами пробежал микроскопический электрический разряд.

Диана отёрнула руку — слишком резко, слишком нервно для женщины, которая привыкла контролировать каждый свой жест. Он заметил. Конечно, заметил. Его глаза блеснули, и в них мелькнуло что-то похожее на удовлетворение.

— Я знаю, что у вас есть книга, — сказал он тихо, почти шёпотом. — Книга, в которой спрятано одно очень ценное чувство. Оно было извлечено у одного человека несколько лет назад. Я пришёл, чтобы его вернуть.

Сердце Дианы пропустило ещё один удар.

Несколько лет назад.

Она принимала чувства у сотен, у тысяч людей. Все они хранились здесь, в лабиринте, каждая книга — на своей полке, каждый стеллаж — в своём секторе. Но была среди них одна книга, которую она не брала в руки уже много лет. Одна-единственная книга, которую она не могла открыть. Которую она боялась открыть.

Книга, в которую она заперла чувство, от которого отказалась восемь лет назад.

Когда ей было двадцать четыре года, и она только-только стала ученицей предыдущего хранителя «Архива». Когда она была молода, неопытна и... глупа. Когда она думала, что сможет управлять эмоциями, не подпуская их к себе. Когда она совершила самую большую ошибку в своей жизни.

— Здесь тысячи книг, — сказала она, и голос её прозвучал хрипло, неубедительно. — Тысячи чувств. Я не помню каждое.

— Но это вы помните. — Он не спрашивал, он утверждал. — Потому что это чувство особенное. Оно... другое. Оно не похоже на те, что вы храните. Оно живое. Оно жжётся. Оно пахнет.

Диана молчала. Ей нечего было сказать.

— Моя клиентка, — продолжал мужчина, — умирает. Ей семьдесят два года. Она прожила долгую жизнь, но последние восемь лет она просто... существует. Не живёт. Потому что восемь лет назад она пришла сюда и попросила вас избавить её от любви. От первой любви. От самого сильного чувства в её жизни. И вы — вы, Диана, — согласились.

Восемь лет. Диана мысленно перебирала клиентов того периода. Их было немного — она только начинала, «Архив» ещё не был известен, клиенты приходили редко, но всегда — с тяжёлыми, запущенными случаями.

— Её зовут Вера Павловна, — сказал мужчина. — Вера Павловна Снегирёва. Бывшая медсестра. Семьдесят два года. Живёт одна в хрущёвке на окраине. И она умирает. Не в переносном смысле. В самом прямом. Её сердце отказывает, потому что она вырвала из него любовь.

Диана закрыла глаза.

Вера Павловна.

Она помнила. Теперь — помнила. Маленькая, сухонькая женщина с серебряной сединой и глазами, полными такой боли, что на них было больно смотреть. Она пришла в «Архив» ранней весной, когда с крыш ещё капало, а на газонах лежал грязный, ноздреватый снег. Пришла без предварительной записи — просто появилась на пороге, промокшая, продрогшая, и сказала: «Я слышала, вы можете помочь. Я больше не могу. Я так больше не могу».

Её история была проста и трагична. Первая любовь — юный курсант военного училища, с которым она познакомилась в семнадцать лет на танцах в Доме офицеров. Три месяца счастья — чистого, ослепительного, какое бывает только в юности. И потом — страшная весть: он погиб при исполнении. Не на войне — в мирное время, в учебном лагере, от шальной пули во время учений.

Вера Павловна хранила эту любовь всю жизнь. Не вышла замуж. Не родила детей. Посвятила себя работе — стала медсестрой, потом старшей медсестрой, потом легендой отделения. Но каждый вечер, возвращаясь в пустую квартиру, она доставала из старой шкатулки пожелтевшую фотографию и письма, перевязанные выцветшей ленточкой, и плакала. Больше пятидесяти лет. Каждый вечер.

А потом что-то сломалось. Она больше не могла плакать. Не могла чувствовать. Любовь, которую она несла в себе как крест, стала невыносимой. И она пришла к Диане.

Диана помнила эту процедуру. Помнила, как извлекала из груди Веры Павловны светящийся, золотисто-розовый сгусток — тёплый, трепещущий, как пойманная птица. Помнила, как переливала его в книгу — старую, в синем переплёте с золотым обрезаем. Помнила, как Вера Павловна ушла — лёгкая, опустошённая, но с улыбкой облегчения.

И помнила, как потом, ночью, она сама сидела над этой книгой и чувствовала, как от неё исходит тепло. Живое тепло. Тепло первой любви, которой у неё самой никогда не было.

— Я не могу вам помочь, — сказала Диана, открывая глаза. — Процесс необратим. Чувство, однажды извлечённое, нельзя вернуть обратно. Оно... умирает.

— Лжёте, — мягко сказал мужчина. — Не мне. Себе. Вы просто боитесь.

— Я ничего не боюсь.

— Боитесь. — Он наклонился чуть ближе, и его лицо оказалось так близко, что она могла разглядеть каждую ресничку, каждую морщинку в уголках его прозрачных глаз. — Боитесь открыть эту книгу. Потому что знаете: вместе с чувством Веры Павловны вы заперли там что-то своё. То, что вы не хотели помнить. То, что теперь рвётся наружу.

Диана отшатнулась.

Он не мог этого знать. Никто не мог этого знать. То, что случилось восемь лет назад, было тайной, которую она не доверила ни одному человеку на свете. Даже предыдущему хранителю, своему учителю. Даже самой себе — она заставила себя забыть.

Но он знал.

— Кто вы? — спросила она, и в её голосе впервые прозвучало что-то кроме холода. Страх. Надежда. Отчаяние. — Вы не просто наёмник. Вы не просто человек, который ищет чувства для других. Кто вы?

Мужчина выпрямился. Улыбка исчезла с его лица, и на мгновение он стал серьёзным — очень серьёзным, почти печальным.

— Меня зовут Артём, — сказал он. — И я здесь не только ради Веры Павловны. Я здесь ради вас, Диана. Ради нас.

— Нас? — она горько усмехнулась. — Нет никаких «нас». Я вижу вас впервые в жизни. — Вы уверены? — его глаза блеснули в свете свечи. — Вы абсолютно в этом уверены? Диана открыла рот, чтобы ответить «да», но слово застряло у неё в горле.

Потому что уверена она не была.

Потому что в его глазах, в его голосе, в его запахе было что-то до боли знакомое. Что-то, что она знала — не умом, не памятью, а чем-то более древним, более глубоким. Чем-то, что живёт в нас ещё до рождения и остаётся после смерти.

— Книга в дальней комнате, — сказала она, сдаваясь. — Второй стеллаж слева. Четвёртая полка сверху. Синий переплёт, золотой обрез, без названия.

— Спасибо, — просто сказал Артём.

И улыбнулся — не криво, не насмешливо, а тепло и почти... нежно.

И от этой улыбки у Дианы снова сладко заныло под ложечкой.

Она проводила его взглядом — как он шёл через лабиринт стеллажей, не оглядываясь, уверенно, словно знал дорогу. Словно бывал здесь раньше. Его силуэт постепенно растворялся в полумраке, и только запах — дождь, табак, тёплая кожа — остался после него, как обещание.

Диана прижала ладонь к груди, туда, где бешено колотилось сердце.

Что-то начиналось. Что-то, чего она не могла ни контролировать, ни предсказать.

Что-то, что изменит всё.

Тишина в «Архиве» стала густой и вязкой, как сироп. Дождь за окном бился в стёкла, словно хотел войти внутрь, но «Архив» не пускал его — или, может быть, Диана просто перестала его слышать. Все звуки внешнего мира отступили, сменились глухой, пульсирующей тишиной, в которой единственным ориентиром были удары её собственного сердца.

Она сидела за столом и смотрела в темноту, куда ушёл Артём. Её руки, лежащие на столешнице, казались чужими — бледные, длинные пальцы с аккуратным маникюром, серебряное кольцо с дымчатым кварцем. Кварц сегодня мерцал сильнее обычного. Или ей только казалось?

Нужно было встать. Нужно было пойти за ним. Нельзя было отпускать его в глубины архива одного — «Архив» не любил незваных гостей, особенно таких... странных. Но что-то держало Диану на месте. Не страх. Не лень. Скорее — странное, тягучее оцепенение, какое бывает во сне, когда хочешь бежать, но ноги не слушаются.

Артём. Он назвал своё имя так просто, так буднично, словно оно ничего не значило. Но для Дианы оно значило всё. Артём — от Артемиды, богини-охотницы, повелительницы луны и дикой природы. Той самой, чьё имя Диана носила в римском варианте. Они были связаны на уровне этимологии, на уровне мифа, на уровне какого-то древнего, забытого архетипа. Он — её близнец. Её тень. Её потерянная половина.

Глупости. Это всё глупости. Она не верила в судьбу. Она не верила в «предначертанных» партнёров. Она вообще ни во что не верила, кроме «Архива» и своей работы.

Но почему тогда её сердце колотится так, будто хочет вырваться из грудной клетки?

Диана резко встала. Стул отъехал назад с неприятным скрежетом. Спящая клиентка в кресле пошевелилась, что-то пробормотала во сне, но не проснулась. Диана поправила на ней плед и, подобрав юбки, решительно направилась в темноту архива.

Лабиринт встретил её привычной прохладой и запахом старых книг. Стеллажи высились по обе стороны, как безмолвные стражи, и на их полках тысячами корешков светились запертые чувства. Диана знала здесь каждый поворот, каждый тупичок, каждую скрипучую половицу. Она шла быстро, почти бежала, но при этом совершенно бесшумно — годы практики.

Дальняя комната находилась в самой глубине архива, там, где стеллажи расступались, образуя небольшое круглое пространство, освещённое единственной свечой. Эта комната была особенной. Здесь хранились не просто чувства — здесь хранились тайны. Чувства, от которых отказались сами хранители «Архива». Чувства, которые были слишком сильными, слишком опасными, слишком... личными.

Когда Диана вошла в круглую комнату, Артём уже был там.

Он стоял спиной к ней, у четвёртой полки второго стеллажа слева, и держал в руках книгу. Ту самую. Синий переплёт, золотой обрез. Даже с расстояния в несколько шагов Диана почувствовала тепло, исходящее от неё, — живое, пульсирующее, как сердцебиение.

— Не открывайте её, — сказала она. Её голос прозвучал резко, слишком резко, и эхом отразился от стен.

Артём обернулся. В свете единственной свечи его лицо казалось высеченным из камня — резкие тени, глубокие глазницы, мерцающие зрачки.

— Почему? — спросил он.

— Потому что вы не знаете, что там внутри. Чувства, которые хранятся так долго, становятся... непредсказуемыми. Они мутируют. Впитывают в себя окружающую среду. Эта книга пролежала здесь восемь лет. Восемь лет она впитывала в себя атмосферу «Архива» — а здесь, поверьте, есть что впитывать.

— И что же она впитала? — Он не выглядел испуганным. Скорее — заинтригованным.

— Я не знаю. Никто не знает. Именно поэтому её нельзя открывать без подготовки.

— И что за подготовка?

Диана помедлила. Потом подошла ближе — настолько близко, что снова почувствовала тот самый запах: дождь, табак, тёплая кожа. От близости его тела у неё закружилась голова, но она заставила себя сосредоточиться.

— Нужно настроиться, — сказала она. — Нужно войти в резонанс с чувством, запёртым в книге. Почувствовать его. Понять его. И только потом — аккуратно, очень аккуратно — приоткрыть.

— И вы умеете это делать?

— Я хранитель. Это моя работа.

Артём посмотрел на неё долгим, изучающим взглядом. Потом — кивнул и протянул ей книгу:

— Тогда сделайте это.

Их пальцы соприкоснулись.

Это было как удар током. Как короткое замыкание. Как вспышка молнии в ночном небе.

Диана почувствовала, как через точку соприкосновения — костяшки его пальцев, кожа к коже — в неё хлынул поток. Не мыслей, не слов — ощущений. Тёплых, обжигающих, оглушительных. На мгновение ей показалось, что она падает — летит в какую-то бездну, в чёрный бархатный водоворот, и единственное, что удерживает её, — это его рука.

Она отдернула пальцы так резко, словно обожглась.

Артём смотрел на неё. Его глаза были широко распахнуты, и в них больше не было насмешки. Только изумление. Только что-то, похожее на испуг. И — на узнавание.

— Вы тоже это почувствовали? — спросил он.

Диана не ответила. Она прижала обожжённую — в переносном, а может, и в прямом смысле — руку к груди и часто дышала.

— Книга, — сказала она наконец, справившись с дыханием. — Дайте мне книгу. И отойдите.

Он подчинился. Отдал ей синий фолиант и отступил на шаг, не сводя с неё глаз.

Диана прижала книгу к груди. Закрыла глаза. Попыталась настроиться.

Это было непросто. Мысли разбегались, сердце колотилось, а в кончиках пальцев всё ещё покалывало от прикосновения к его руке. Но она заставила себя дышать глубже, медленнее. Вдох — задержка — выдох. Вдох — задержка — выдох.

Постепенно мир вокруг затих.

Она почувствовала книгу. Её вес — не физический, эмоциональный. Её тепло — живое, трепещущее, как маленькое сердце. Её запах — жасмин, морская соль, юность, надежда.

Чувство Веры Павловны. Первая любовь.

Но было что-то ещё. Что-то, чего не было восемь лет назад. Какой-то тёмный, горьковатый привкус. Как яд, добавленный в сладкое вино.

— Там что-то есть, — прошептала Диана, не открывая глаз. — Что-то, чего не должно быть. Что-то чужое.

— Что именно? — голос Артёма донёсся до неё как сквозь вату.

— Я не знаю. Я не могу... не могу разобрать.

— Тогда откройте.

— Нет!

— Откройте, Диана. — Его голос был мягким, но настойчивым. — Вы же чувствуете: оно хочет выйти. Оно ждало этого восемь лет. Не мучайте его.

Диана колебалась. Всё её существо кричало: «Не делай этого!» Но что-то внутри — может быть, любопытство, может быть, та самая вибрация, которая привела её сюда, — заставило её пальцы сжаться на обложке.

Медленно, очень медленно, она открыла книгу.

И мир взорвался.

Из страниц вырвался свет — ослепительный, золотисто-розовый, тёплый, как летний полдень. Но вместе со светом вырвалось и что-то ещё — тёмное, дымное, с горьким запахом гари. Оно закружилось по комнате, заметалось между стеллажами, завывало — тонко, пронзительно, как раненый зверь.

Диана отшатнулась, выронила книгу. Та упала на пол, но свет и дым продолжали вытекать из неё, смешиваясь, переплетаясь, образуя в воздухе странную, сюрреалистическую картину.

— Что это?! — крикнул Артём, закрывая лицо рукой.

— Это оно, — прошептала Диана. — Чувство Веры Павловны. Но оно... оно больное. Оно заражено. Чем-то извне.

— Чем?!

Диана вгляделась в клубящуюся массу. Золотисто-розовый свет — это была любовь. Первая любовь Веры Павловны. Но тёмный дым, оплетающий его, как змея, — это было что-то другое. Что-то знакомое. Что-то, что она уже видела.

И тут её осенило.

— Это моё, — сказала она, и её голос упал до шёпота. — Тёмное — это моё.

Артём уставился на неё.

— Что значит «ваше»?

— Восемь лет назад, — медленно, с трудом выговаривая слова, сказала Диана, — когда я извлекала чувство Веры Павловны... я была молода. Я была неопытна. Я... я не справилась.

— Не справились с чем?

— С собой. — Она горько усмехнулась. — Чувство Веры Павловны было таким сильным, таким прекрасным... Я никогда не испытывала ничего подобного. И когда я извлекала его, часть его... осталась во мне. А часть меня — моя собственная боль, моё собственное одиночество — перетекла в книгу. Я не хотела. Это случилось само.

В комнате повисла тишина.

Артём смотрел на неё, и в его глазах больше не было ни насмешки, ни испуга. Было что-то другое — что-то, похожее на сострадание.

— Значит, всё это время, — сказал он тихо, — вы хранили не только чувство Веры Павловны. Вы хранили часть самой себя. И эта часть... она зла. Она хочет выбраться.

— Да, — прошептала Диана.

Клубящаяся масса в воздухе тем временем начала принимать форму. Свет и дым сплетались, перетекали друг в друга, и постепенно в центре комнаты возникло видение — зыбкое, дрожащее, как мираж.

Это была Диана. Молодая, двадцатичетырёхлетняя, с длинными распущенными волосами и глазами, полными слёз. Она стояла над книгой и плакала — беззвучно, отчаянно, — и её слёзы падали на страницы, впитывались в бумагу, смешивались с золотистым светом чужой любви.

— Это случилось в ту ночь, — сказала настоящая Диана, глядя на видение. — Я не хотела, чтобы кто-то знал. Я заперла книгу и поклялась никогда её не открывать.

— Но я заставил вас, — закончил Артём.

— Да. Вы заставили меня.

Видение рассеялось. Свет и дым перестали враждовать и медленно, неохотно, втянулись обратно в книгу. Та захлопнулась с глухим стуком.

В комнате снова стало тихо.

— Что теперь? — спросил Артём.

— Теперь, — сказала Диана, поднимая книгу с пола и прижимая её к груди, — теперь мы должны разделить их. Отделить любовь Веры Павловны от моей боли. И вернуть ей то, что принадлежит ей.

— А ваша боль?

— Она останется со мной. Как и должна была с самого начала.

Артём шагнул к ней. Взял её за руку — на этот раз осторожно, почти нежно. И от его прикосновения по её телу снова пробежала тёплая, сладкая дрожь.

— Я помогу вам, — сказал он.

И почему-то, глядя в его прозрачные глаза, Диана ему поверила.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.